

АРНОЛЬД  
**БЕННЕТТ**

Заживо погребенный  
Отель «Гранд Вавилон»



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика

Арнольд Беннетт

**Заживо погребенный.  
Отель «Гранд Вавилон»**

«Издательство АСТ»

1902, 1911

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

**Беннетт А.**

Заживо погребенный. Отель «Гранд Вавилон» / А. Беннетт —  
«Издательство АСТ», 1902, 1911 — (Зарубежная классика)

ISBN 978-5-17-175146-3

Стремясь избавиться от назойливого внимания публики, известный, но крайне застенчивый художник Прайам Фарл, главный герой романа «Заживо погребенный», выдает себя за собственного умершего слугу. Лишившись роскошного дома и внушительного банковского счета, Прайам вынужден быстро приспособливаться к тяготам обычной жизни... Повинуясь сиюминутной прихоти, самоуверенный американский миллионер покупает один из лучших лондонских отелей, среди регулярных постояльцев которого члены королевских родов и представители самых знатных семей Старого Света. Однако за внешней благопристойностью вывески «Гранд Вавилон» скрываются интриги, тайны и преступления, в чем новому владельцу очень быстро предстоит убедиться на собственном опыте.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-175146-3

© Беннетт А., 1902, 1911

© Издательство АСТ, 1902, 1911

## Содержание

Заживо погребенный	6
Глава I	6
Глава II	15
Глава III	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

**Арнольд Беннетт**  
**Заживо погребенный**  
**Отель «Гранд Вавилон»**  
*Романы*

**Enoch Arnold Bennett**  
**Buried Alive. A Tale of These Days**  
**The Grand Babylon Hotel**

\* \* \*

© Перевод. Е. Суриц, наследники, 2025



Школа перевода В. Баканова, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2026

# Заживо погребенный

## Перевод Елены Суриц

### Глава I

#### Халат цвета бордо

Особый угол наклона земной оси к плоскости эклиптики – тот угол, что всего более отвечает за географию нашу и, соответственно, нашу историю, – вызвал явление, в Лондоне именуемое летом. Летящий шар отворотился самой цивилизованной своею стороной от Солнца, произведя таким манером ночь на Селвуд-Террас в Саут-Кенсингтоне. В № 91 по Селвуд-Террас, две лампы – в первом и во втором этаже – без слов доказывали, что человеческая изобретательность в силах перехитрить природу. № 91 был один из десяти тысяч домов между Саут-Кенсингтон-Стейшн и Норт-Энд-роуд. Дом этот, со всеми неудобствами, с подвальной кухней, сотней приступок и ступенек, с нечистой совестью (он уморил несчетных слуг), заламывал к небу дымовые трубы и обреченно ждал дня Страшного суда для лондонских домов, решительно не замечая ни угла оси, ни скорости земной орбиты, ни даже опрометчивого лёта всей Солнечной системы сквозь пространство. Вы сразу чувствовали, что № 91 несчастен, и что осчастливить его может только вывеска «Сдается внаем» на фасаде и «Непригодно для жилья» на подвальных окнах. Но ни одним из этих преимуществ он не обладал. Годами пустуя, никогда он не бывал свободен. На всем своем благородном и широком жизненном пути ни разу не сдавался он внаем.

Зайдите же, вдохните атмосферу тоскующего дома, который обыкновенно пуст, но не сдается никогда. Все двенадцать его комнат погружены в унылый мрак, за исключением двух; подвальная кухня погружена в унылый мрак; и только эти две комнаты, как два ящика, один на другом, борются, бедняжки, с унынием десяти прочих! Постойте-ка в темной прихожей, вберите эту атмосферу в свои легкие.

Главным, самым поразительным предметом в освещенной комнате первого этажа был халат – того цвета между лиловым и багровым, какой предки наши предпочитали называть «бордо»; одежда стеганая, подбитая лебяжьим пухом, легкая, как водород (почти), и теплая, как улыбка ласкового сердца; пусть старая, пусть кое-где и потертая одежда, пусть пропускавшая там-сям снежно-белое перо сквозь атласистые свои поры; и однако же – мечта, а не халат. Он безраздельно царствовал в нечистом, голом помещении, сияя роскошными своими складками в свете заменявшей солнце керосиновой лампы, водруженной на сигарный ящик на грязном сосновом столе. Керосиновая лампа имела стеклянный резервуар, щербатое стекло, картонный козырек и стоила, надо полагать, меньше флорина; пять флоринов окупил б стол; прочая же обстановка – кресло, в котором раскинулся халат, стул, полка, три пачки сигарет и вешалка для брюк – тянули еще на десять флоринов. В потолочных углах, в тени козырька, пряталась сложная система паутины – совершенно в тон устлавшей голый пол серой пыли.

Внутри халата был человек. Человек этот достиг интересного возраста. Я разумею – того возраста, когда уж вы расстались с обольщениями детства, когда вы считаете, что познали жизнь, когда вы часто погружаетесь в раздумья о том, какие дивные гостинцы припасло вам будущее; возраста, короче говоря, самого романтического и нежного из всех возрастов (то есть у мужчины). Одним словом – пятидесятилетнего возраста. Возраста, нелепо принижаемого теми, кто его еще не достиг! Духоподъемного возраста! Как же трагически обманчива бывает внешность!

У обитателя бордового халата были: короткая седеющая бородка и усы; густая шевелюра переходного окраса от перца к соли; множество морщинок во впадинах между глазами и свежей розовостью щек; и глаза эти были печальны; очень даже печальны. Встань он, распрямись, взгляни отвесно вниз, он бы увидел не свои шлепанцы, но выдавшуюся вперед пуговицу халата. Поймите меня правильно; я не намерен ничего скрывать; я вовсе не опровергаю цифр, записанных в блокноте у его портного. Ему было пятьдесят. Да, и как большинство пятидесятилетних мужчин, он был молод, очень даже молод, и, подобно большинству пятидесятилетних холостяков, он был скорей беспомощен. Он догадывался, что ему не очень повезло. Выковырай он, исследуй свою душу, и в ее глубинах он бы выискал печальное, жалостное желание, чтобы о нем позаботились, укрыли бы его, защитили от грубости и неустройства мира. Естественно, сам он в этом ни за что бы не признался. И можно ль ждать от пятидесятилетнего холостяка признания в том, что он похож на девятнадцатилетнюю девушку? Тем не менее, как ни странно, сердце пожившего, пятидесятилетнего холостяка и сердце девятнадцатилетней девушки похожи куда больше, чем девятнадцатилетние девушки могут себе представить; особенно если пятидесятилетний холостяк сидит, одинокий и покинутый, в два часа пополудни, в унылой атмосфере дома, который пережил свои мечты. Ей-богу же, только пятидесятилетние холостяки меня поймут.

Остается неизвестным, о чем думают юные девушки, когда они думают; девушкам и самим это неизвестно. Как правило, одинокие мечты пятидесятилетних холостяков едва ли менее вызывают к толкованию. Но обитатель бордового халата был исключением из правила. Он знал и мог без нас с вами объяснить, о чем он думает. В сей печальный час, в печальном месте, грустные мысли его были сосредоточены на блистательном, необычайном успехе, выпавшем на долю одаренного и славного создания, известного народам и газетам под именем Прайма Фарла.

### **Богатые и знаменитые**

В те дни, когда Новая галерея еще была новой, в ней была выставлена картина, подписанная неизвестным именем Прайма Фарла и вызвавшая такой шум, что месяцами потом культурный разговор без ссылок на нее считался прямо неприличным. То, что автор – великий художник, ни в ком не вызывало никаких сомнений; единственный вопрос, какой считали своим долгом решить культурные люди, был: величайший ли он художник всех времен и народов или только величайший художник со времен Веласкеса. Культурные люди и по сей день об этом спорили бы, не просочись, не дойди до них слух, что картина отвергнута Королевской академией. Культура Лондона тотчас забыла свои споры и сплотилась против Королевской академии – института, не имеющего права на существование. Дело дошло до парламента и даже заняло у законодателей целых три минуты. Напрасно Королевская академия стала бы ссылаться на то, что не заметила картины, ибо размеры ее были два на три метра; на ней изображен был полицейский, самый обыкновенный полицейский в натуральную величину, и то был неслыханный, поразительный портрет, но мало этого: то было первое явление полицейского в высоком искусстве; говорят, преступники буквально от него шарахались. Нет уж! Никак Королевская академия не могла бы доказать, что не заметила картины. Честно говоря, Королевская академия и не доказывала, что случайно что-то проглядела. Не доказывала она и своего права на существование. Собственно, она и вообще ничего не доказывала. Она тихомирно продолжала существовать, ежедневно принимая сто пятьдесят фунтов шиллингами на свои полированные турникеты. О Прайме Фарле не удавалось выяснить никаких подробностей, адрес же его был: «До Востребования, Сен-Мартен-Ле-Гран». Не один коллекционер, вдохновляясь верой в собственный вкус и благородным желанием поддержать отечественное искусство, пытался за несколько фунтов приобрести картину, и энтузиасты эти были задеты за

живое и расстроены, узнав, что Прайам Фарл назначил цену 1000 фунтов – да за такие деньги редкую марку купить можно!

В результате картина осталась непроданной; и после того, как развлекательный журнал безуспешно призывал читателей опознать изображаемого полицейского, дело заглохло, и летняя публика привычно занялась вопросами о том, кто на ком собирается жениться.

Все ждали, естественно, что Прайам Фарл, как исстари ведется среди тех, кто успешно трудится на благо Британской Живописи, предложит следующего полицейского Новой галерее, потом еще одного, и так далее, в продолжение двадцати лет, в конце какового срока Англия его признает любимейшим своим живописателем полицейских. Но Прайам Фарл вовсе ничего не предложил Новой галерее. Он будто забыл о Новой галерее, что выглядело невежливо с его стороны, чтоб не сказать неблагодарно. Наоборот даже, он взял и украсил Парижский салон большим морским пейзажем, с пингвинами на переднем плане. Его пингвины стали на выставке гвоздем программы; они сделали пингвина самой модной птицей в Париже, и даже (спустя год) и в Лондоне. Французское правительство предлагало их выкупить за счет казны по сходной цене в пятьсот франков, но Прайам Фарл вместо этого их продал американскому коллекционеру Уитни С. Уитту за пять тысяч долларов. Скоро он продал тому же коллекционеру и полицейского, которого оставил было себе, – за десять тысяч долларов. Уитни Уитт был тот самый эксперт, который выложил двести тысяч долларов за Мадонну со святым Иосифом кисти Рафаэля. Вышеупомянутый развлекательный журнал вычислил, что если учитывать только площадь, занимаемую на холсте этим полицейским, рискованный коллекционер ухлопал по две гинеи на каждый его квадратный сантиметр.

И вот тут уж читатели газет проснулись и в один голос спросили:

– Да кто он такой, этот Прайам Фарл?

Вопрос остался без ответа, однако репутация Прайама Фарла отныне решительно упрочилась, и это несмотря на то, что он и не думал подчиняться правилам поведения, какие британское общество предписывает своим художникам, достигнувшим успеха. Во-первых, он даже не озаботился тем, чтобы родиться в Соединенных Штатах. Далее, ему следовало бы, месяцами отказываясь от интервью, сдать наконец на уговоры самой модной газеты. Следовало бы вернуться в Англию, отрастить гриву, хвост с кисточкой и стать царем зверей; или, по крайней мере, выступить, ну хоть бы на банкете, с речью о высокой, облагораживающей миссии искусства. И, наконец, ну что бы ему стоило написать портрет своего отца или деда в простой рабочей робе, чтоб доказать, что он не сноб? Ничуть не бывало! Мало того, что каждая его картина нисколько не походила на предшествовавшие, он пренебрег всеми вышеуказанными формальностями – и при всем при том громоздил бешеный успех на бешеный успех. Есть люди, о которых только и скажешь, что им везет, как понтёру в удачный день. И вот такой был Прайам Фарл. За несколько лет он стал легендой, заманчивой загадкой. Никто не знал его; никто его не видел; никто не выходил за него замуж. Вечно за границей, он постоянно был предметом противоречивых толков. Самим Парфиттам, его агентам в Лондоне, ничего про него не было известно, кроме почерка – на оборотах чеков с четырехзначными числами. Продавали они в среднем по пять больших и по пять малых его полотен в год. Полотна прибывали ниоткуда, чеки отправлялись в никуда.

Юные художники, немевшие от восторга перед шедеврами его кисти, обогатившей все национальные галереи Европы (кроме, разумеется, той, что на Трафальгарской площади)<sup>1</sup>, о нем грезили, его боготворили, жестоко ссорились из-за него, этого воплощения славы, роскоши, беспорочного совершенства, даже себе не представляя, что он тоже человек, как и они, вынужденный шнуровать ботинки, чистить палитру, что в груди его тоже бьется сердце и он безотчетно боится одиночества.

---

<sup>1</sup> То есть Национальной галереи в Лондоне.

И вот наконец ему выпало высшее отличие, последнее доказательство того, что его оценили. Газеты взяли наконец манеру упоминать имя его без всяких пояснений. В точности так, как не пишут же они «Мистер А. Д. Балфур, известный политический деятель»<sup>2</sup>, или «Сара Бернар, знаменитая актриса», или «Чарльз Пис, исторический убийца», но просто «Мистер Балфур», «Сара Бернар», «Чарльз Пис»; так они теперь писали просто – «Прайам Фарл». И никто, никто в вагоне для курящих утреннего поезда не вынимал трубку изо рта, чтобы спросить: «А это кто еще такой?» Большой чести в Англии не может сподобиться никто. Прайам Фарл, первым из английских художников, дождался от общества такого высшего признания.

И вот он сидел в бордовом халате.

### Ужасная тайна

Колокольчик грянул в тишине тоскующего дома; громкий старомодный дребезг эхом раскатился над подвальной лестницей, достиг уха Прайама Фарла, и тот поднялся было, но снова сел. Он знал, что дело срочное, что надо открыть парадное, и кроме него, некому открыть; и тем не менее он мешкал.

Тут мы оставим Прайама Фарла, великого, богатого художника, ради кой-кого куда более занимательного – частного лица Прайама Фарла; и сразу перейдем к его ужасной тайне, к той роковой черте характера, которая и повлекла все престранные обстоятельства его жизни.

Как частное лицо, Прайам Фарл был отчаянно застенчив.

Он был ну совершенно не такой, как, скажем, вы да я. Не станем же мы, например, терзаться, если нам предстоит с кем-то познакомиться, занять апартаменты в гранд-отеле, или впервые войти в пышный дом, или пройти по комнате, в которой всюду сидят, или поспорить с величавой аристократкой на почте по ту сторону окошка, или пройти, скажем, мимо лавки, где мы слишком много задолжали. И краснеть, неметь, застывать на месте при мысли о таких простейших, повседневных делах – такое глупое ребячество нам с вами и в голову не придет. Мы при всех обстоятельствах ведем себя естественно – и с чего бы разумному человеку вести себя иначе? Другое дело Прайам Фарл. Привлекать внимание мира к зримому факту своего существования – была для него мука мученическая. Вот в письме – о, там он мог быть абсолютно наглым. Дайте ему перо – и он становится бесстрашным.

Сейчас он знал, что надо пойти и открыть дверь. И человеколюбие, и личный интерес побуждали его пойти и открыть дверь безотлагательно. Ибо звонивший был, конечно, доктор, явившийся-таки навестить лежащего наверху больного. Больной этот был Генри Лик, а Генри Лик был дурной привычкой Прайама Фарла. Хотя отчасти мошенник (о чем догадывался хозяин), слуга он был великолепный. Вот как вы да я, никогда он не робел. Естественные вещи всегда он делал естественно. Постепенно, понемножку он стал необходим Прайаму Фарлу, как единственное средство сообщения между ним и человечеством. Из-за стеснительности хозяйина, сходной с пугливостью оленя, эта парочка почти всегда держалась от Англии подальше, и в дальних странствиях Фарла неизменно выручал Лик. Видался со всеми, с кем следовало свидеться, подменял его во всем, что требовало личных встреч. И, как это свойственно дурным привычкам, Лик был дорог Прайаму Фарлу, ему необходим, и Прайам Фарл, конечно, с ним не мог расстаться, а потому год за годом, целых четверть века застенчивость Фарла росла вместе со славой и богатством. Хорошо еще, что Лик никогда не болел. Верней сказать, он никогда не болел до того самого дня, когда они – инкогнито, ненадолго – явились в Лондон. Момент он выбрал, ей-богу, самый неподходящий; ведь именно в Лондоне, в этом наследственном доме на Селвуд-Террас, где так редко он бывал, Прайам Фарл ну буквально шагу не мог ступить без Лика. Ужасно неприятная, прямо обидная история вышла с этой болезнью Лика. Видно,

---

<sup>2</sup> Артур Джеймс Балфур (1848–1930) – премьер-министр Англии (1913–1920; 1935–1937).

он простудился ночью на пароходе. Несколько часов он перебарывал коварную болезнь, выходил за покупками, зашел к врачу; а потом, без всякого предупреждения, как раз, когда стелил хозяину постель, он оставил всякую борьбу, и, поскольку собственная его постель была не расстелена, рухнул на хозяйскую. Он всегда делал естественно естественные вещи. И Фарлу пришлось помогать ему раздеться!

И с той минуты Прайам Фарл, богатый и великий Прайам Фарл, впал в самое постыдное ничтожество. Он ничего не мог сделать для самого себя; и он ничем не мог быть полезен Лику, ибо Лик отверг бренди и бутерброды, а кроме бренди и бутербродов, лёдник ровно ничего не содержал. И вот Лик лежал наверху, без слов и без движения, и ждал доктора, который пообещался вечером зайти с визитом. И летний день померк и превратился в летнюю ночь.

Мысль о том, чтоб выйти на люди и лично купить себе еды, кого-то призвать на помощь Лику, самая мысль эта была для Фарла непереносима; он никогда не делал ничего подобного. Лавка ему представлялась неприступной крепостью, охраняемой людоедами. Вдобавок придется ведь к кому-то «обращаться», а для него к кому-то «обращаться» было хуже смерти. А потому он метался, участливый и бесполезный, вверх-вниз по лестнице, покуда Лик, болезнью низведенный с роли слуги до роли всего-навсего человека, не попросил, едва слышно, но довольно резко, оставить его в покое, уверив, что с ним все в порядке. После чего предмету зависти всех художников, символу славы и успеха, только и оставалось, что надеть халат бордо и устроиться в жестком кресле для ночного непокоя.

Снова прозвенел звонок, и резкий, внушительный стук в дверь ужасным эхом отдался по всему тоскующему дому. Так сама смерть стучится. Страшное подозрение родилось в душе у Прайама Фарла: «А вдруг он опасно болен?» Прайам Фарл вскочил, взял себя в руки и ринулся навстречу стукам и звонам.

### **Средство от застенчивости**

За дверью переминался с ноги на ногу высокий, тощий, усталый человек в цилиндре и сюртуке; он ровно двадцать часов уже гонял по обычному своему делу, пользуясь воображаемые немощи пилюлями и разговорами, подлинные же недуги предоставляя действию самой природы и подкрашенной водицы. К медицине относился он несколько цинически, отчасти потому, что лишь благодаря излишествам Саут-Кенсингтона он, по собственному убеждению, мог оставаться на плаву, но более же потому, что жена его и перезрелые дочери слишком любили наряжаться. Годами, совершенно забывая о бессмертной душе его, они с ним обращались, как с автоматом для завтраков: сунут завтрак в щель, нажмут на пуговку жилета и вытягивают купюры. И следственно он не имел ни партнера, ни ассистента, ни отдыха, ни экипажа; жена и дочери не могли себе позволить такой роскоши. Был он способный, расторопный, вечно усталый, лысый и пятидесятилетний. И еще, как это ни покажется вам странно, он был застенчив; правда, в конце концов он, разумеется, с этим свыкся, как нам приходится свыкаться с дуплом в зубе. Нет, свойств девичьего сердца лучше было не искать в сердце доктора Кашмора! Он поистине изучил человеческую природу, и воскресное бегство в Брайтон представлялось ему раем и пределом всех мечтаний.

Прайам Фарл открыл дверь, и оба нерешительных господина увидели друг друга в луче уличного фонаря (в прихожей света не было).

– Здесь живет мистер Фарл? – спросил доктор Кашмор, от стеснительности чересчур сурово.

Что до Фарла, он был буквально потрясен тем, что Лик зачем-то разоблачил его фамилию. Кажется, номера дома было бы вполне достаточно.

– Да, – признался он, смущенный и расстроенный. – Вы доктор?

– Да.

Доктор Кашмор ступил во тьму прихожей.

– Как наш больной?

– Даже не могу вам сказать. В постели, лежит тихо.

– И правильно, – сказал доктор Кашмор. – Когда он утром ко мне явился на прием, я ему порекомендовал лечь в постель.

Последовала коротенькая пауза, в продолжение которой Прайам Фарл покашливал, а доктор потирал руки и мычал какой-то резвый мотивчик.

«О боже! – пронеслась мысль в голове у Фарла. – Да он ведь застенчив. Я уверен!»

Доктора же осенило:

«Ах, боже мой, и этот тоже – комок нервов!»

Тотчас они почувствовали расположение друг к другу, и сразу обоих отпустило. Прайам закрыл дверь, прищемив фонарный луч.

– Ах, тут, кажется, темно, – шепнул Прайам Фарл.

– Я спичкой посвечу, – обнадежил его доктор.

– Большое вам спасибо, – растрогался Прайам.

Вспышка озарила все великолепие бордового халата. Но доктор Кашмор не дрогнул. Чего-чего, а халатов, льстил себя надеждой, он всяких навидался.

– Кстати, что с ним такое, как вы думаете? – спросил Прайам самым своим мальчишеским голосом.

– Не знаю. Простуда! Резкие шумы в сердце. Все может быть. Вот я и сказал ему, что вечером зайду. Раньше никак не удавалось. С шести утра на ногах. Сами знаете, что это такое – день практикующего врача.

И печально, устало улыбнулся.

– Очень мило с вашей стороны, что вы пришли, – сказал Прайам Фарл с живым участием.

Он удивительно ярко умел себя представить в шкуре другого.

– Ах, да ну что вы! – пробормотал доктор. Он был глубоко тронут. Чтоб скрыть, до чего он тронут, он снова чиркнул спичкой. – Пройдем наверх?

В спальне свеча горела на ночном столике, пыльном и пустом. Доктор Кашмор придвинул ее поближе к постели, казавшейся оазисом пристойности в пустыне неутешной комнаты; потом нагнулся, чтоб осмотреть больного.

– Он весь дрожит! – тихонько ахнул доктор.

Кожа Генри Лика и впрямь отдавала синевой, хоть на постели кроме одеяла были еще пледы, да и ночь была теплая. Старееющее лицо (ибо он был третий пятидесятилетний мужчина в этой комнате) выразило тревогу. Но он не шелохнулся, не произнес ни слова при виде доктора, только смотрел уныло. Кажется, его занимало лишь собственное хриплое дыхание.

– Из женщин есть кто-нибудь?

Вдруг доктор глянул на Фарла пронзительно. Тот вздрогнул.

– Мы тут сами по себе, – пролепетал он.

Лицо, менее привычное, чем доктор Кашмор, к тайным странностям господской жизни Лондона, такое сообщение могло бы удивить. Но доктор Кашмор и тут не дрогнул, как не дрогнул он при виде бордовой пышности.

– Тогда бегите, принесите горячей воды, – рявкнул он повелительно. – Живей! И бренди! И еще одеяло! Что же вы стоите? Ну! Где тут у вас кухня? Я с вами сам пойду! – Он схватил свечу; лицо его выражало: «Да, вижу, от тебя толку мало».

– Мне крышка, доктор, – едва слышно прошелестело с постели.

– Увы, голубчик! – пробормотал доктор себе под нос, пробираясь по ступеням вслед за Прайамом Фарлом. – Если я не волюю в тебя чего-нибудь горяченького!

## Хозяин и слуга

– Теперь дознание будет? – спросил Прайм Фарл в шесть часов утра.

Он рухнул в жесткое кресло на первом этаже. Незаменимый Генри Лик был утрачен для него навеки. Он не постигал, как будет теперь жить. Он не мог себе представить своего существования без Лика. И, мало этого, надвигающийся ужас появления на люди в связи со смертью Лика был попросту непереносим.

– Нет! – обнадежил доктор. – Ах нет! Я же присутствовал. Острая двусторонняя пневмония! Что ж, бывает! Я выдам свидетельство о смерти. Конечно, вам придется пойти его заверить.

И без дознания дело принимало самый мучительный для Фарла оборот. Он понял, что просто всего этого не вынесет, и спрятал лицо в ладонях.

– Где нам искать родственников мистера Фарла? – спросил доктор.

– Родственников мистера Фарла? – отозвался Прайм Фарл, не понимая.

И вдруг он понял. Доктор Кашмор считал, что фамилия Лика – Фарл! Вся душа застенчивого Прайма Фарла встрепенулась, и он ухватился за безумную возможность избежать всякого появления на люди в качестве Прайма Фарла. Да пусть себе считают, что это он, а не Генри Лик, скоростижно скончался на Селвуд-Террас в пять часов утра! И он тогда свободен, волен, как птица!

– Да, – подтвердил доктор. – Их следует известить, естественно.

Прайм быстро пробежал в уме каталог собственной родни. Но решительно никого не мог припомнить ближе некоего Дункана Фарла, троюродного брата.

– По-моему, у него их и не было, – ответил он, и голос у него дрожал от сознания собственной отваги. – Разве что дальние какие-то. Но мистер Фарл никогда про них не говорил. Что было правдой.

Он с трудом из себя выдавливал эти два слова «мистер Фарл». Но когда они слетели-таки с его уст, он понял: дело сделано, возврата быть не может.

Доктор покосился на руки Прайма, трудовые, загрубелые руки художника, вечно возящегося с красками.

– Простите, – сказал доктор. – я полагаю, вы его слуга, или...

– Да, – сказал Прайм Фарл.

И точка была поставлена.

– Назовите полное имя вашего хозяина, – сказал доктор.

Прайм Фарл содрогнулся.

– Прайм Фарл, – почти прошептал он.

– Как! Не?.. – громко вскрикнул доктор, которого превратности жизни Лондона наконец-то потрясли.

Прайм кивнул.

– Ну и ну! – доктор дал волю своим чувствам. Говоря по правде, именно эта превратность жизни Лондона ему польстила, он ощутил свою значительность, сразу забыл усталость и обиды.

Он увидел, что халат бордо облекает человека, который букавально валится с ног, и с тем своим добродушием, какого не в силах были побороть никакие тяготы, вызвался помочь по части предварительных формальностей. И он ушел.

## Месячное жалованье

Прайам Фарл не намеревался спать; он хотел обдумать положение, в которое так лихо себя поставил; но он заснул – и в этом жестком кресле! Разбудил его ужасный грохот, как будто дом бомбардируют и мимо ушей его несутся кирпичи.

Когда он наконец совсем очнулся, бомбардировка оказалась настойчивым, надсадным стуком в парадную дверь. Он встал, увидел заспанного, неумытого, лохматого бордового субъекта в грязном каминном зеркале. И, потянувшись, направил сонные свои стопы к парадной двери.

За дверью стоял доктор Кашмор и еще один пятидесятилетний субъект, чисто выбритый, строгий, в глубоком, полном трауре – и даже были на нем черные перчатки.

Это новое лицо холодно оглядело Прайама Фарла.

– Ах! – произнес скорбящий.

Зашел в дверь и последовал за доктором Кашмором.

Дойдя до края коврика в прихожей, скорбящий заметил белый квадратик на полу. Поднял, внимательно осмотрел и протянул Прайаму Фарлу:

– По-видимому, это вам, – сказал он.

Прайам взял конверт, увидел адрес: «Генри Лику, эсквайру, Селвуд-Террас», – писанный женскою рукой.

– Это же вам, – наседа на него несгибаемым голосом скорбящий.

– Да-да, – промямлил Прайам.

– Я – мистер Дункан Фарл, адвокат, кузен вашего усопшего хозяина, – продолжал металлический голос сквозь крупные, ровные белые зубы. – Что вы успели сделать за день?

Прайам, заикаясь, выговорил:

– Ничего. Я спал.

– Вам бы не мешало быть поучтивей, – заметил Дункан Фарл.

Ах, вот и он, троюродный братец, которого он видел только когда-то в детстве! В жизни он бы не узнал Дункана. Дункан явно и не думал узнавать его. Все мы имеем обыкновение через сорок лет делаться неузнаваемыми.

Дункан Фарл прошествовал по первому этажу, на пороге каждой комнаты восклицая «Ах!» или «Ха!». Потом они с доктором направились наверх. Прайам, в полном смятении, торчком стоял в прихожей.

Наконец Дункан Фарл спустился.

– Подите сюда, Лик, – сказал Дункан.

И Прайам малодушно ступил следом за ним в ту комнату, где стояло жесткое кресло. Дункан Фарл уселся в это жесткое кресло.

– Жалованье какое получали?

Прайам попытался вспомнить, сколько он платил Генри Лику.

– Сотня в год, – сказал он.

– А-а! Недурное жалованье. Когда получали в последний раз?

Прайам вспомнил, что платил Лику два дня тому назад.

– Третьего дня, – был его ответ.

– Снова повторяю: можно бы вести себя поучтивей, – заметил Дункан, вытаскивая блокнот. – Вот тут, однако ж, восемь фунтов и пять шиллингов, это вам за месяц. Складывайте вещи и извольте удалиться. В ваших услугах я более не нуждаюсь. От каких бы то ни было замечаний воздержусь. Но потрудитесь хотя бы *одеться* – сейчас три часа пополудни – и безотлагательно оставьте этот дом. Но предварительно дайте мне осмотреть ваш сундучок... или сундучки.

Через час, в сумерках, Прайам Фарл стоял позади собственной двери с жестяным чемоданом Генри Лика и его же котомкой, понимая, что события жизни подхватили его и несут с невероятной быстротой. Он хотел быть свободным, и вот он свободен. Волен, как птица! Он только дивился тому, как столь многое и в столь короткое время могло произойти всего лишь в результате мгновенного отклонения от истины.

## Глава II

### Помойное ведро

Из кармана плаща у Лика торчала сложенная «Дейли телеграф». Прайам Фарл был отчасти денди и, как все уважающие себя денди и как все портные, не любил, чтоб укромные складки одежды кто-то портил неумеренным использованием карманов. Сам же плащ и костюм под ним были очень даже ничего себе; поскольку, принадлежа покойному Генри Лику, сидели на Прайаме Фарле как влитые да и были сшиты на него, поскольку Генри Лик имел обычай одеваться исключительно из гардероба своего хозяина. Наш денди рассеянно вытащил «Телеграф», и взгляд его упал на следующее: «Прекрасный частный отель самого высокого класса. Роскошная мебель. Чуткое внимание к удобствам клиента. Прекраснейшая во всем Лондоне репутация. Изысканная кухня. Тишина. Для лиц самого привилегированного положения в обществе. Ванные комнаты. Электричество. Отдельные столики. Без унизительных чаевых. Однокомнатные номера от 2,5 гиней, двухкомнатные от 4 гиней в неделю. Квинс-Гейт, № 250». Пониже было еще одно сообщение: «Не меблированные комнаты. Роскошный особняк. Сорок спален. Великолепные салоны. Повар из Парижа. Отдельные столики. Четыре ванные комнаты. Биллиардная, ломберная, просторный холл. Молодое, веселое, музыкальное общество. Бридж (по маленькой). Оздоровительные процедуры. Прекраснейшее место во всем Лондоне. Без унизительных чаевых. Однокомнатные номера от 2,5 гиней, двухкомнатные от 4 гиней в неделю, телефон 10–073, особняк Трефузиса».

Тут как раз на Селвуд-Террас показался кеб.

Прайам поскорей его окликнул.

– Слышь, хозяин, – сказал кебмен, опытным глазом окинув Прайама Фарла и смекнув, что тот не привык возиться с багажом. – Дай вот этому медяк, уж он тебе подмогнет. Чего там в тебе и весу-то.

Маленький, тощий мальчонка, с историческими остатками сигареты во рту, не ожидая, пока его попросят, взбежал, как обезьянка, по ступеням, и вырвал из рук Прайама поклажу. Прайам за этот подвиг дал ему один из шестипенсовиков Лика, мальчишка щедро на монету поплевал, одновременно – фантастическая ловкость! – зажимая нижней губой сигарету. Потом извозчик благородным жестом приподнял поводья, Прайаму пришлось решиться, и он забрался в кеб.

– № 250 Квинс-Гейт, – сказал он.

Прижимаясь щекой к плечу, чтоб уклониться от поводьев, и, через крышу кеба, бросая это указание во внимательное извозничье ухо, вдруг он ощутил себя снова англичанином, англичанином до мозга костей, в истинно английской обстановке. Этот кеб был – как дом после странствий по пустыне.

№ 250 Квинс-Гейт он выбрал, приняв за оплот покоя и укромности. Он прямо предвкушал, как погрузится в этот № 250, словно в пуховую постель. Другое место его устрасило. Он помнил ужасы континентальных отелей. В своих странствиях он довольно натерпелся от молодого, веселого, музыкального общества шикарных отелей, и бридж (по маленькой) его не слишком привлекал.

Пока лошадка цокала по ущельям среди знакомой штукатурки, он продолжал изучать «Телеграф». И немало удивился, обнаружив там не одну колонку восхитительных дворцов, причем все обладали прекраснейшей репутацией в Лондоне; Лондон весь как будто был одним сплошным самым прекрасным местом. И как уж он был ласков, гостеприимен, Лондон, как жаждал он твоего покоя, удобства, заботился о твоей ванне, о твоём оздоровлении! Прайам вспомнил убогие меблирашки восьмидесятых. Все изменилось, изменилось к лучшему. «Телеграф» весь ломился, сочился, прыскал этим лучшим. Лучшее кричало с колонок на первой

странице, парило даже над названием газеты. Там он, кстати, заметил от названия слева новую, утонченную кофейню на Пикадилли-Серкус, принадлежащую благородной даме (сама же она ею и управляла), где вы могли насладиться настоящим хлебом, настоящим маслом, настоящим кексом и настоящей гостинией. Поразительно!

Кеб остановился.

– Тут это? – спросил извозчик.

И это было тут. Но дом был непохож даже на скромную гостиницу. Он был в точности похож на самый обыкновенный дом, высокий, узкий, зажатый между своих же близнецов. Прайам Фарл недоумевал, куда наконец его не осенило. «Ах, ну конечно, – сказал он сам себе, – тут покой, укромность. Мне тут понравится», – и выпрыгнул из кеба.

– Я вас оставляю, – бросил он извозчику, как положено (гордый тем, что с юности запомнил эту фразу), будто извозчик – вещь, предложенная ему на пробу.

Перед ним было две кнопки. Он нажал одну и ждал, когда ворота раздвинутся и представят взору роскошную меблировку. Никакого отклика! Он уже принялся проверять по «Телеграфу» номер дома, но тут дверь тихо подалась назад, разоблачив фигуру пожилой особы в черном шелке, которая смерила его мрачным недоуменным взором.

– Прошу прощения... – залепетал он, сраженный этой мрачной строгостью.

– Комнаты желали? – она спросила.

– Да, – признался он. – Желал. Нельзя ли посмотреть?

– Зайдете, может? – сказала особа. И в унылом лице, по четкому повелению мозга, зародилось подражание улыбке, притом удивительно ловкое подражание. Просто непонятно, и как ей удалось так натренировать свои черты.

Прайам Фарл, краснея, шагнул на турецкий ковер, и его обступил мрак собора. Он было приуныл, но турецкий ковер несколько его ободрил. Когда глаз свыкся с освещением, стало ясно, что собор на редкость узок, а вместо хоров в нем лестница, тоже покрытая турецким ковром. На нижней ступеньке покоился предмет, которого природу он разгадал не сразу.

– Надолго вам? – выговорили губы напротив.

Его ответом – ответом нервной, застенчивой природы – было тотчас выскочить вон из дворца. Он опознал предмет на лестнице. То было помойное ведро, венчанное крученой тряпкой.

Им овладел глубокий пессимизм. Все силы его оставили. Лондон сделался враждебным, черствым, жестоким, невозможным. Ах, как же он томился сейчас по Лику!

## Чай

Час спустя, по любезному совету извозчика оставя вещи Лика в камере хранения на Саут-Кенсингтон-Стейшн, он пешком добрал от старого Лондона до центрального кольца нового Лондона, где делать никому решительно нечего, кроме как дышать воздухом в парках, рисовать в клубных окнах, разъезжать в особенных экипажах, ловко обходясь без лошадей, покупать цветы, египетские сигареты, разглядывать картины, есть и пить. Почти все дома стали выше, чем были прежде, улицы стали шире; на расстоянии ста метров один от другого подъемные краны, царапая облака, бросая вызов закону тяготения, непрерывно вздымали кирпич и мрамор в высшие слои атмосферы. На каждом углу продавали фиалки, и воздух полон был пьянящим духом денатурата. Вот наконец он оказался перед фасадом с высокой аркой, помеченной единым словом «Чай», и за аркой увидел множество лиц, потягивавших чай; рядом была другая арка, украшенная тем же словом, и за нею потягивало чай уже большее множество лиц; потом была еще арка, и еще; а потом он вышел на круглую площадь, показавшуюся ему смутно знакомой.

– Боже правый! – сказал он сам себе. – Да это же Пикадилли-Серкус!

И в тот же миг взгляд его различил над узкой дверью образ зеленого дерева и слова «Зеленый вяз». То был вход в помещения «Зеленого вяза», о которых так сочувственно отзывался «Телеграф». Прайам Фарл, можно сказать, был человек передовой, с гуманными идеями, и мысль о благородно воспитанных дамах, оказавшихся в нужде и отважно борющихся за существование, вместо того чтоб гибнуть с голоду, как прежде, задела в нем рыцарскую струнку. Он решился оказать им помощь и выпить чаю в гостиной, воспетой «Телеграфом». Собрав все свое мужество, он проник в коридор, освещенный розовым электричеством, потом поднялся по розовым ступеням. Наконец его остановила розовая дверь. Она могла бы скрывать ужасные, сомнительные тайны, но кратко повелевала: «Толкнуть» – и он толкнул бесстрашно... Он оказался в своего рода будуаре, густо населенном столиками и стульями. Мгновенное перемещение с шумной улицы в тишь гостиной его ошеломило: он содрал с головы шляпу так, будто шляпа раскалилась добела. Кроме двух стоящих бок о бок в дальнем конце будуара тонких, высоких фигур, никто здесь не нарушал покоя столов и стульев. Прайам уже готов был промямлить извинения и спастись бегством, но тут одна из благородных дам, вонзивши в него взгляд, его пригвоздила к месту. Он сел. Дамы возобновили свою беседу. Он украдкой огляделся. Вязы, твердо укоренясь по краям циновки, с восточной роскошью росли вдоль стен, верхние ветки расплескав по потолку. Карточка на одном стволе гласила: «Собакам вход воспрещен», и это ободряло Фарла. Погодя одна из дам величаво подплыла, мельком на него глянула. Она ни слова не сказала, но твердый, суровый взор сказал без слов: «Смотрите у меня, чтобы вести себя прилично!»

Он готов был рыцарственно улыбнуться, но улыбка скоропостижно почилла на его устах.

– Чаю, пожалуйста, – сказал он едва слышно, а робкий тон его договорил: – Если, конечно, это не слишком вас обременит.

– К чаю что желаете? – спросила дама кратко и, поскольку он явно пришел в смятение, пояснила: – Булочки, кекс?

– Кекс, – ответил он, хоть с детства ненавидел кекс. Но он перепугался.

«На сей раз ты легко отделался, – говорили складки муслиновых одежд, уплывая из виду. – Но без глупостей, пока меня не будет!»

Когда, молча и сурово, она метнула перед ним заказанное угощение, он обнаружил, что все на столе, кроме ложечек и кекса, поросло вязами.

Одолев одну чашку и ломтик кекса, установив, что чай спитой и не пригоден для питья, кекс же создан из материала, скорей предназначавшегося для изготовления охотничьих сапог, Фарл отчасти обрел присутствие духа и вспомнил, что никакого преступления, собственно, не совершил, войдя в этот будуар, он же гостиная, и попросив еды взамен на деньги. Меж тем дамы притворялись друг перед дружкой, что его не существует; никакой другой смельчак не рисковал спастись от голода в сем девственном вязовом лесу. Фарл начал рассуждать, рассуждения скоро приняли необычайный – для него – оборот, и он украдкой заглянул в бумажник Генри Лика (прежде ему знакомый только с внешней стороны). Несколько лет уже он думать не думал о деньгах, но обнаружив, что после уплаты за хранение багажа в брючном кармане Лика сиротствовал один-единственный соверен, он догадался, что рано или поздно придется озаботиться финансовой стороной существования.

В бумажнике оказались две банкноты по десять фунтов, пять французских банкнот по тысяче франков и несколько мелких итальянских банкнот: все вместе составляло двести тридцать фунтов, впрочем, нашлась еще свернутая рулетка, несколько почтовых марок и фотография приятной женщины лет сорока. Сумма не показалась ни крупной, ни мелкой Прайаму Фарлу. Просто представлялась чем-то, что позволит на некий неопределенный срок выбросить из головы всякую мысль о деньгах. Он даже не потрудился подивиться, на что понадобилось Лику таскать в бумажнике доход свой за два года. Он знал, во всяком случае, определенно догадывался, что Лик мошенник. И все же он прискорбно, он цинично привязался к Лику. И

мысль о том, что никогда уж Лик его не побреет, не заявит тоном, не терпящим возражений, что пора постричься, не сдаст вещей в багаж, не закажет в дальний экспресс билета, наполняла его истинной тоской. Не то чтоб он жалел Лика, не то чтоб думал, тем более шептал бы «Бедный Лик!». Всякий, кто имел удовольствие знакомства с Ликом, знал, что главным содержанием, наполнением жизни Лика были заботы о Лике, и где б ни очутился Лик, ясно было, что он нигде не пропадет. И потому предметом жалости Прайама Фарла оставался исключительно Прайам Фарл.

И хотя достоинство его жестоко пострадало в последние минуты на Селдом-Террас, кой с чем он мог себя поздравить. Доктор, например, жал ему руку на прощание; жал открыто, в присутствии Дункана Фарла: лестная дань личному его обаянию. Но главным утешением для Прайама Фарла было то, что он перечеркнул себя, он больше не существовал для мира. И, если честно, утешение это даже перевешивало скорбь. Он вздохнул – с невероятным облегчением. Ибо вдруг, чудом, он освободился от угрозы леди Софии Энтвистл. Спокойно оглядываясь назад, на недавний, в общем, эпизод, связанный с леди Энтвистл в Париже – истинную причину внезапного его бегства в Лондон, – он сам поражался скрытой своей способности вдруг взять и отмочить ужаснейшую глупость. Как на всех робких людей, вдруг напали на него приступы невыносимой отваги – особенно тогда, когда хотелось угодить даме, случайно встреченной в поезде (с женщинами он вообще гораздо меньше робел). Но предложить руку и сердце потрепанной завсегдатаице отелей вроде леди Софии Энтвистл, открыть ей свое имя, позволить ей его предложение принять – это уж не лезло ни в какие ворота!

И вот он свободен, свободен, ибо он покойник!

Холод у него прошелся по хребту, когда представилась ужасная судьба, которой он избежал. Ему, пятидесятилетнему мужчине, со своими правилами, подобно дикому оленю, привыкшему к свободе, – и склонить гордую выю под солидную обувку леди Энтвистл!

Но нет худа без добра, и была, была определенно, оборотная, приятная сторона даже в перемещении Лика в иную сферу деятельности.

Когда он клал в карман бумажник, рука наткнулась на письмо, доставленное Лику утром. После недолгого спора с самим собой о том, имеет ли он право вскрыть письмо, он его вскрыл. Письмо гласило: «Дорогой мистер Лик, я так рада, что вы мне написали, и фоточка такая симпатичная. Зря только вы на машинке печатаете. Не знаете, как это действует на женщину, не то бы не печатали. Но все равно я рада с вами познакомиться, как вы предлагаете. Может, сходим вместе в „Маскелин и Кук“ завтра вечером (в субботу)? Только знаете, это теперь не в Эджипт-Холле. Это в Сент-Джордж-Холле теперь, по-моему. Но вы в „Телеграфе“ поглядите; и время там указано. Я подойду к открытию. Вы меня по фоточке узнаете; и еще у меня красные розы будут на шляпке. Покамест au revoir. Искренне ваша. Элис Чаллис. P. S. Там в „Маскелин и Куке“ много темных мест. Так что попрошу вас, чтобы вели себя как джентльмен. Вы уж извините, это я так, на всякий случай. Э. Ч.»

Пройдоха Лик! Хотя б отчасти явилось объяснение крошечной пишущей машинке, которую его слуга везде таскал с собой, а теперь Прайам оставил на Селвуд-Террас.

Прайам бросил взгляд на фотографию, в бумажник; и, как ни странно, в «Телеграф».

Женщина с тремя детьми ворвалась в гостиную и тотчас заполнила собою все; дети, на разные голоса ликуя, орали: «Ма-а!», «Мамма!», «Ма-а-а-ма!». Когда одна из благородных дам плыла мимо него, он рискнул выговорить:

– Простите, сколько я вам должен?

Не отклоняясь от курса, она кинула на стол бумажку и предупредила строго:

– В кассу заплатите.

Он отыскал кассу, скрытую в вязовых пущах, и тут уж увидел истинную аристократку – и даже не в муслине. Те, другие, были графские дочери, но эта – наследная княгиня в наряде для коктейля.

Он выложил соверен Лика.

– Помельче не нашли? – отрезала княгиня.

– Да, к сожалению, простите, – промямлил он в ответ.

Она брезгливо взяла соверен, повертела.

– Теперь с этим возись, – припечатала она.

Потом отперла один ящичек, другой, скрепя сердце, отсчитала восемнадцать шиллингов и шестипенсовик, и отдала все это Прайаму Фарлу, не глянув на него, не проронив ни слова.

– Благодарю вас, – сказал он, засовывая сдачу в карман.

И под крики «Ма-ама!», «Ма-а-а!», «Ма-а-ма-а!» он поспешил прочь, – отринутый – без сожаления, гордо – хрупкими, тонкими созданиями, борющимися за существование в огромном городе.

## Элис Чаллис

– Вы мистер Лик, наверно? – окликнула его какая-то женщина, когда он мешкал возле Сент-Джордж-Холла, осматривая вечернюю публику. Он отпрянул так, будто женщина со смутным акцентом кокни приставила пистолет к его виску. Он перепугался не на шутку. Простительно полюбопытствовать, а что же он делал возле Сент-Джордж-Холла? Ответ на столь естественный вопрос затронет самые тайные пружины человеческого поведения. Два человека уживались в Прайаме Фарле. Один был застенчивый и робкий господин, давным-давно себя убедивший в том, что решительно предпочитает не встречаться с себе подобными, – собственно, возведший свою трусость в добродетель. Вторым был лихой, отчаянный парнюга, любивший самые рискованные приключения и обожавший брататься с первым встречным. № 2 часто ставил № 1 в затруднительные положения, из которых № 1, как он ни злился, как ни стеснялся, не спешил выпутываться.

И разумеется, это № 2 с самым беспечным видом шел по Риджент-стрит, вдохновленный зыбкой возможностью встретить женщину с красными розами на шляпке; зато № 1 предстояло расхлебывать кашу. Никто не мог бы удивиться больше № 2, когда исполнялась тайная мечта № 2 о неожиданном сюрпризе. Но как бы искренне, как бы невинно ни было удивление № 2, – № 1 это ничуть не облегчало положения.

Фарл приподнял шляпу и в тот же миг разглядел красные розы. Он, конечно, мог отречься от имени Лика и бежать, но он не шелохнулся. Левая нога готова была пуститься наутек, но правая приросла к месту.

И вот они пожали друг другу руки. Но как она его узнала?

– Я, по правде, вас не очень-то и ожидала, – сказала дама, все с тем же едва заметным акцентом кокни. – Но, думаю, чего же случай упускать, раз он не смог прийти. Взяла и сама вошла.

– Но почему вы меня не ожидали? – спросил он нерешительно.

– Ну, раз мистер Фарл умер, у вас, понятно, много дел, да вы и не в настроении, наверно.

– А-а, ну да, – заторопился он, поняв, что надо быть поосторожней; он совсем забыл о смерти мистера Фарла. – Но откуда вы знаете?

– Откуда я знаю? – вскрикнула она. – Интересно! Да поглядите вы вокруг! И так по всему Лондону, шесть часов кряду. – Она показала на оборванца с оранжевым плакатом в виде фартука. На плакате огромными черными буквами значилось: «Скоропостижная кончина Прайама Фарла в Лондоне. Срочный особый выпуск». Другие оборванцы, тоже в фартуках, правда, других тонов, столь же выразительно возвещали своей оснасткой о кончине мистера Фарла. И, вываливаясь из Сент-Джордж-Холла, толпа жадно выхватывала газеты у этих вестников беды.

Он покраснел. Странно – полчаса целых идти по центру Лондона и не заметить, что летний ветер по всем углам треплет твоё имя. Но ничего не поделаешь. Такая уж натура. Только сейчас он понял наконец, какими судьбами Дункан Фарл объявился на Селвуд-Террас.

– Так что же, вы плакатов не видали, что ли? – недоумевала она.

– Не видел, – сказал он просто.

– Ну, значит, очень уж задумались! – она вздохнула. – Хороший был хозяин?

– Да, очень, – ответил Прайам честно.

– Вы не в трауре, как я погляжу.

– Да. То есть...

– Я и сама насчет траура не очень, – она продолжала. – Говорят, уважение надо выказать. А по мне, если не можешь уважение выказать без пары черных перчаток, с которых вечно слезает краска... Не знаю, как вы, а я всегда была не очень насчет траура. И зачем на Бога лишнее роптать! Правда, по-моему, про Бога тоже чересчур много болтают. Не знаю, как вы, а по-моему...

– Я совершенно с вами согласен, – и он расцвел той нежной улыбкой до ушей, которая порой, вдруг и не спросясь, преображала все его лицо.

Она тоже улыбнулась, взглянув на него уже почти по-дружески. Была она маленькая, толстоватая – да что там, толстая; пухлые розовые щеки; снежно-белая хлопковая блуза; красная юбка в неровных складках; серые хлопковые перчатки; зеленый зонтик; и в довершение всего – черная шляпка с красными розами. Фотография в бумажнике у Лика принадлежала прошлому. Выглядела она на все сорок пять, фотография же отражала тридцать девять, ну, чуть-чуть побольше. Он глянул на нее сверху вниз, добродушно, снисходительно.

– Вам, наверно, скоро бежать, у вас, наверно, куча дел. – Только она и держала беседу на плаву.

– Нет. Там у меня – все. Уволили.

– Кто?

– Родственники.

– А почему?

Он только плечами пожал.

– Ну, вы жалованье-то свое с них содрали за последний месяц, уж это точно, – она сказала твердо.

Он был рад ей дать удовлетворительный ответ.

После паузы она храбро продолжала:

– Значит, мистер Фарл был из художников из этих? Так я по газете поняла.

Он кивнул.

– Дело у них непонятное, – заметила она. – Но многие, кажется, неплохие деньги загребают. Кому-кому, а вам ли не знать, вы в этом варились.

Никогда еще в жизни он не беседовал подобным образом с лицом, подобным миссис Элис Чаллис. Все в ней было для него внове – одежда, манеры, поведение, произношение, взгляд на мир и его цвета. Он встречал, конечно, таких людей, как миссис Чаллис, на страницах книг, но никогда еще ни с кем из них лицом к лицу не сталкивался. Вдруг до него дошло, как все это смешно, в какую идиотскую историю он, кажется, собрался вляпаться. Голос разума ему говорил, что нелепо длить это свидание, но робость и безумство пригвоздили к месту. К тому же в ней была прелесть новизны; и что-то задевало мужскую струнку.

– Ну как? – она сказала. – Не стоять же нам тут вечно!

Толпа меж тем схлынула, служитель закрывал и запирали двери Сент-Джордж-Холла. Прайам кашлянул.

– Жалко, суббота сегодня, магазины все закрыты. А может, просто так пройдемся по Оксфорд-стрит? Как? – предложила она.

– Я с удовольствием.

– Ну вот, а теперь я кое-что вам хочу сказать, – приступила она со спокойной улыбкой, когда они двинулись с места. – Не надо вам со мной робеть. Чего уж тут. Я вся тут перед вами, как я есть.

– Робеть! – воскликнул он, искренне удивленный. – По-вашему, я робкий? – Ему-то казалось, что он себя ведет с великолепной наглостью.

– Ну и ладно, – сказала она, – Чего уж. Ничего приятного. Со мною вам ни к чему это – стесняться. Где бы нам поговорить как следует? Я сегодня вечером свободная. Насчет вас не знаю.

Ее глаза с вопросом глянули в его глаза.

## Без чаевых

Час спустя они бок о бок входили в сверкающее заведение, по всем стенам как бы все в мелких зеркалах, так что, куда б ни бросил взор любопытный наблюдатель, он всюду видел себя или искаженные свои фрагменты. Зеркала то и дело перемежались эмалированными табличками, твердившими: «Без чаевых». Кажется, хозяева заведения стремились как можно четче донести до сознания посетителя, что, как бы он ни изощрялся, что бы тут ни назаказывал, на чаевые ни под каким видом ему нечего рассчитывать.

– Я всегда сюда хотела, – оживленно пролепетала миссис Элис Чаллис, снизу глядя в скромное немолодое лицо Прайама Фарла.

Затем, после того, как они благополучно одолели первый озеркаленный портал, огромный детина в полицейском мундире, ловко подражая полицейскому, вытянул вперед руку, им преграждая путь.

– По порядку, пожалуйста, – произнес он.

– Я думал, это ресторан, а не театр, – шепнул Прайам миссис Чаллис.

– Ресторан это и есть, – объяснила ему спутница, – но, слышала я, нельзя им по-другому, такая тут всегда толпа. А красота какая, а?

Он с этим согласился. Он понял, что Лондон ушел от него далеко вперед, и надо очень уж поспешить, чтобы за ним угнаться.

Наконец, еще одно подражание полицейскому отворило еще одни двери, и вместе с другими грешниками они были из чистилища допущены в грохочущий рай, где снова им предлагалось все, что угодно, кроме чаевых. Там их отвели в самый угол просторного, высокого зала, где затаился маленький столик, загроможденный грязными тарелками и пустыми стаканами. Господин в вечернем костюме, неся на своем челе: «Только без оскорбительных чаевых!», скакнул мимо столика, единым, волшебным махом все с него смел, с чем и удалился. Подвиг был поразительный, но Прайам не успел еще оправиться от удивления, как ему пришлось дивиться снова, обнаружив, что господин в черном костюме волшебным образом успел всучить ему исписанное золотыми буквами меню. Меню – объемля все на свете, кроме чаевых, – было чрезвычайно длинное, и, зная, видимо, по опыту, что документ этот не из тех, какие можно изучить в два счета, господин в вечернем костюме деликатно не прерывал занятий Прайама и миссис Элис Чаллис с четверть часа. Потом он прилетел стрелой, вдоль и поперек проэкзаменовал их относительно меню, опять бежал, и, когда он исчез, оказалось, что столик под чистой скатертью сверкает чистою посудой. Оркестр вдруг впал в дикое веселье, как в мюзик-холле после какого-нибудь особенно изнурительного пассажа. И он гремел все громче, громче; и чем громче он гремел, тем громче разговаривали вокруг. И гром тарелок в оркестре мешался с грохотом тарелок на подносах и столах, а пререкания ножей и вилок сливались с воплями упрямец, которым во что бы то ни стало хотелось, чтоб собеседник их услышал. И господа в вечерних костюмах (для всех сидящих за столиками, по-видимому, запрещенных)

носились туда-сюда с непостижимой быстротой, суровые, сосредоточенные маги. И с каждой мраморной стены, с каждого зеркала, с каждой дорической колонны беззвучно, настоятельно вас предупреждали: «Без чаевых».

Так Прайм Фарл приступил к первой своей трапезе на людях в новом Лондоне. Отелей он понавиделся; понавиделся и ресторанов в полудюжине стран, но ни один еще не впечатлял его, как этот. Он помнил Лондон деревянных забегаловок, и кусок, можно сказать, почти не лез ему в горло из-за роившихся в голове мыслей.

– Правда, так интересно тут? – млела миссис Чаллис над стаканом портера. – Я так рада, что вы меня сюда привели. Мне давно сюда хотелось.

Потом, несколько минут спустя, она говорила, перекрикивая несусветный шум:

– Знаете, я уж сколько лет хотела снова замуж выйти. А когда всерьез захочешь замуж выйти, что дальше-то? Можно, конечно, в кресле сидеть и дожидаться, пока яйца будут по шесть пенсов дюжина, а толку-то? Что-то делать надо. Тут поневоле вспомнишь про брачное агентство, да? Ну, брачное агентство, ну и что такого-то? Хочешь замуж, значит, хочешь, и чего уж притворяться, будто у тебя такого и в мыслях нет? Вообще, притворяться – ой, это я терпеть не могу. И какой-такой в том стыд, если ты замуж хочешь, да? По-моему, брачные агентства – вещь очень даже хорошая, очень даже полезная. Говорят, обманывают там. Ну, кто нарывается, того обманывают. И без брачного агентства обманут за милую душу, я так считаю. Нет, меня лично никогда еще не обманывали. Если ты человек простой и с головой на плечах, никогда тебя не обманут. Нет, я так считаю, что брачное агентство – самая полезнейшая вещь, ну самая, буквально – после подмышечников, – каких только наизобретали. Ну, и если что из этого получится, я со всем моим удовольствием им уплачу положенное. Вы-то как? Со мной согласны?

Вдруг тайна разъяснилась.

– Совершенно! – сказал он.

А по спине у него поползли мурашки.

## Глава III

### Фотография

После того как миссис Чаллис высказалась в пользу брачных агентств, существование Прайама Фарла стало мукой. Таких, как она, он привык считать «женщинами вполне приличными»; но поистине!.. фраза неокончена, потому что Прайам Фарл и сам не кончил ее у себя в мозгу. Пятьдесят раз доводил фразу до этого «но поистине», а дальше ее заволакивало неприятным облаком.

– Наверно, нам пора идти, – сказала миссис Чаллис, когда ее мороженое было съедено, а у него растаяло.

– Да, – подхватил он, а про себя прибавил: «Но куда?»

Однако ж лучше было унести ноги из этого ресторана, и он попросил счет.

Пока ждали счета, положение становилось все напряженней. Прайам осознал в себе желание швырнуть на столик деньги и дунуть прочь. Даже миссис Чаллис, смутно это чувствуя, затруднялась продолжением беседы.

– А вы на фотокарточке похоже вышли! – заметила она, оглядывая его лицо, которое, надо признаться, заметно изменилось за последние полчаса. Вообще, лицо у него способно было принимать по сотне разных выражений за день. Теперешнее выражение было выражение тревоги – средней степени. Лучше всего вы себе представите это выражение, вообразив субъекта, запертого в железной камере и замечающего с тоской, что стены по углам раскалились докрасна.

– На фотокарточке? – вскрикнул он, потрясенный тем, что похож на фотографию Лика.

– Да, – твердо заверила она. – Я вас вмиг узнала. По носу особенно.

– А она у вас с собой? – спросил он, мечтая поглядеть, на какой такой фотографии Лик обладает его, Прайама, носом.

Она вынула из сумочки фотографию – не Лика, Прайама Фарла. Ненаклеенный снимок с негатива, – проявлял с Ликом вместе, помнится, искал позу для картины – и очень, надо признаться, недурной вышел фотопортрет. Да, но зачем Ликуну понадобилось раздавать снимки своего хозяина незнакомым дамам, рекомендуемым через брачные агентства? Этого Прайам Фарл не постигал. Разве что из чистого нахальства – бессмысленный и наглый розыгрыш.

Она смотрела на снимок с явным удовольствием.

– Ой, ну честно, ну правда, очень, очень хорошо вышли? – настаивала она.

– Ну, наверно, – согласился он. Он, кажется, двести фунтов отдал бы за смелость ей объяснить в немногих хорошо подобранных словах, что все это вместе взятое ужасная ошибка, страшная, глупая неосторожность. Но и за двести тысяч фунтов такой смелости ему было не купить.

– Ах, мне нравится, – сказала она пылко, пусть с лишним жаром, но как мило! И положила фотографию обратно в сумочку.

Потом она понизила голос.

– Вы мне еще не рассказали, были вы когда женаты, или нет. А я все жду.

Он залился краской. Его потрясла нескромность этого вопроса.

– Нет, – сказал он.

– И всегда так жили, вроде как один. Без дома. В разъездах. И некому было толком за вами приглядеть? – и была истинная печаль в ее голосе.

Он кивнул:

– Ну, как-то привыкаешь.

– Да-да, – она сказала, – я понимаю.

– И никакой ответственности, – прибавил он.

– Ну да. Это я тоже понимаю. – Она помешкала. – Но все равно, мне вас так жалко... столько лет!..

Глаза ее увлажнились, и такой искренний был у нее голос, – Прайам Фарл вдруг понял, что странным образом тронут. Конечно, она говорила про Генри Лика, скромного слугу, а не про его прославленного хозяина. Но Прайам и не видел разницы между своим жребием и жребием Лика. Вдруг он понял, что нет тут особой разницы, и несмотря на многообразные совершенства своего слуги, он не был никогда присмотрен – по-настоящему. Из-за этого ее голоса вдруг он пожалел себя так, как она его жалела; вдруг он понял, какое у нее доброе сердце, а есть ли что на свете дороже доброго сердца! Ах! Если б леди София Энтвистл так говорила с ним!..

Явился счет. Сумма была столь ничтожна, что Прайаму было даже совестно платить. Искоренение чаевых позволило владельцу зеркального дворца предлагать полный обед примерно за те же деньги, как наперсток чая и десять граммов кекса в заведении по соседству. К счастью, владелец, предвидя, очевидно, эти муки совести, изобрел особый способ уплаты – сквозь крошечную дырочку, так, чтобы получатель не видел ничего, кроме стыдливых рук. Что до магов в вечерних костюмах, те, очевидно, ни разу себя не запятнали прикосновением к наличности.

Очутившись на улице, Прайам соображал смущенно, что же теперь делать. Правила этикета миссис Чаллис, надо вам сказать, были решительно ему незнакомы.

– Э-э, не пойти ли нам в «Альгамбру» или еще куда-нибудь? – предложил он, смутно догадываясь, что именно так следует развлекать даму, удовольствием видеть которую ты обязан исключительно ее матримониальным планам.

– Очень даже мило с вашей стороны, – ответила она. – Но я так понимаю, что вы это только для вежливости предлагаете – будучи джентльменом. Не очень-то вам надо сегодня в мюзик-холл идти. Ну да, я сама сказала, что свободная сегодня, но я это не подумавши. Я без всякого намека. Нет, правда! Я, наверно, лучше домой сейчас пойду, а в другой раз, может...

– Я вас провожу, – сказал он быстро. Снова стгоряча и сдуру!

– Нет, вы вправду хотите? Вы можете? – В синеватом свете электричества, ночь обращавшем в бледный день, она покраснела. Да, покраснела, как девочка.

Она его повела по какой-то улочке, где оказалось что-то вроде вокзала, прежде неведомого Прайаму Фарлу, выложенного плиткой, как мясная лавка, и вылизанного, как Голландия. Под ее руководством он взял билеты до станции, о которой прежде не слыхивал, потом они прошли через турникет, тот лязгнул за ними, как запираемый сейф, а дальше идти было некуда, не было никакого выхода, кроме длинного темного туннеля. Рисованные руки, тычущие в таинственное слово «лифты», направляли вас по этому туннелю. «Просьба поторопиться», – раздалось из призрачного мрака. И миссис Чаллис побежала. Меж тем по туннелю, препятствуя всякому человеческому продвижению, задул ровный, невиданной силы пассат. Едва Прайам припустил бегом, пассат сдернул с него шляпу, и та бодро поплыла назад, в сторону улицы. Он бросился за ней, как двадцатилетний мальчишка, сумел поймать. Но когда он достиг конца туннеля, потрясенный взгляд его не увидел ничего, кроме огромной, туго набитой людьми клетки. Клетка звякнула и ушла с глаз долой, вниз под землю.

Нет, это было уже слишком, такого он не мог ожидать даже и в этом городе чудес. Через несколько минут другая клетка поднялась на уровень туннеля в другом месте, изрыгнула своих пленников и, подхватив Прайама и много кого еще, столь же проворно опустилась и выбросила всех в каких-то белых копиях, состоящих из несчетных галерей. Он метался по этим несчетным галереям вниз, под Лондоном, следуя указаниям рисованных рук, метался долго, и таинственные поезда без паровозов проносились мимо. Но даже духа миссис Чаллис он не находил в этом подземном мире.

## Гнездышко

На листке бумаги, озаглавленном «Отель „Гранд Вавилон“, Лондон», тщательно измененным почерком он вывел следующее: «Дункану Фарлу, эсквайру. Сэр, в том случае, если мне придут письма или телеграммы на Селвуд-Террас, будьте добры их переслать по выше-означенному адресу. Искренне ваш, Г. Лик». Не так-то легко ему было подписаться именем покойника; но почему-то он догадывался, что Дункан Фарл – такое сито, в котором (в силу его юридического склада) застревают самонаименьшие подозрения. А потому, чтобы получить возможное письмо или телеграмму от миссис Чаллис, надо открыто назваться Генри Ликом. Он потерял миссис Чаллис; на ее письме не было адреса; он знал только, что живет она в Патни или где-то рядом; и единственная надежда ее найти основывалась на том факте, что ей известен адрес Селвуд-Террас. А он хотел ее найти; он страстно этого желал. Ну хоть бы для того, чтоб объяснить, что их разлучение вызвано единственно капризом головного убора, что он потом искал ее по всему подземелью, отчаянно и безнадежно. Не могла же она вообразить, будто он нарочно улизнул? Нет! Ну хорошо, если она неспособна себе представить такую дикость, почему было не подождать его на платформе? Но все же он надеялся на лучшее. Лучшим была бы телеграмма; ну, на худой конец, письмо. А по получении он кинется к ней, чтоб объяснить... Но вообще-то ему хотелось ее видеть – просто хотелось, вот и все. Как она ответила на предложение пойти в мюзик-холл, каким тоном она ответила, – такое не может ведь не тронуть. И эти ее слова: «Мне вас так жалко... столько лет!» – ну, в общем, совершенно изменили его понятия. Да, ему надо было с ней увидеться, надо было убедиться, что она его уважает. Женщина, невозможная в обществе, женщина со странными хватками, манерами (таких, конечно, миллионы), а вот поди ж ты, уважение ее не хочется утратить!

Потеряв ее, он оказался в крайности, принужден был действовать без промедления. И он сделал самое естественное для вечного путешественника. Он въехал в лучший отель Лондона. (Вдруг он понял, что идея какой бы то ни было частной гостиницы – сомнительная идея.) И вот у него номер с видом на Темзу – роскошный покой, в котором: письменный стол, софа, пять электрических светильников, два кресла, телефон, электрические звонки, тяжелая дубовая дверь с замком, ключом в замке; короче – его крепость! Только смелому по плечу штурмовать такую крепость – и он ее штурмовал. Он зарегистрировался под именем Лика, имя вполне простое, толков не вызовет, и коридорный, кстати, оказался прелестным малым. Вполне можно было положиться на этого коридорного и на телефон с целью избежать грубого соприкосновения с внешним миром. Наконец он себя почувствовал почти в полной безопасности: весь огромный отель – гнездышко к его услугам, позволявшее упрятаться, лежать как в вате. Он был самодержавное лицо, неограниченный правитель комнаты № 331, с правом использовать почти неограниченные возможности «Гранд Вавилона» в своих личных целях.

Он запечатал конверт и тронул кнопку звонка.

Явился коридорный.

– Вечерние газеты есть у вас? – спросил Прайам Фарл.

– Да, сэр, – и лакей почтительно уложил на стол газетную кипу.

– Это все?

– Да, сэр.

– Спасибо. Кстати, не слишком поздно будет беспокоить посыльного?

– О, что вы, сэр. – («Слишком поздно! В отеле „Вавилон“? О, великий царь!» – звучало в его ошеломленном голосе.)

– Тогда пусть посыльный тотчас доставит это письмо.

– В кебе, сэр?

– Да-да, в кебе. Не знаю, будет ли ответ. Он там посмотрит. А потом пусть он заглянет на Саут-Кенсингтон-Стейшн и возьмет мой багаж. Вот деньги и квитанция.

– Спасибо, сэр.

– Он сразу же отправится? Могу ли я на вас положиться?

– Можете, сэр, – ответил лакей с полной убежденностью.

После чего он удалился, и дверь была прикрыта рукой, испытанной в прикрывании дверей, прикрыта тем, кто жизнь посвятил усовершенствованию природных даров лакейства.

## Слава

Он лежал на софе, стоявшей в изножье кровати, выключив все освещение, кроме единственной лампы под малиновым абажуром над самой его головой. Вечерние газеты – белые, сероватые, розоватые, бежевые и желтые – с ним делили ложе. Он собирался заглянуть в некрологи; заглянуть снисходительно, небрежно, только чтоб узнать, в каком духе о нем пишут журналисты. Некрологам он знал цену; часто над ними посмеивался. Знал он и выдающийся идиотизм художественной критики, над которой и посмеиваться не станешь, так она ему претит. Потом он вспомнил, что ему не первому предстоит читать собственный некролог; выпадало и другим такое приключение; и он вспомнил, как, узнавая, что из-за чьей-то ошибки подобный случай произошел с великим имяреком, он, будучи философом, тотчас себе рисовал, в каком умонастроении великий имярек приступит к знакомству с жизнеописанием собственной персоны. И сейчас он добросовестно проникся этим умонастроением. Вспомнил слова Марка Аврелия о тщете славы; вспомнил всегдашнее свое усталое презрение к прессе; со скромной мудростью рассудил, что в искусстве все неважно, кроме самой работы, и никакие потоки дурацкой болтовни ни на йоту не убавят и не прибавят твоей ценности для человечества.

И он стал читать газеты.

При первом же беглом взгляде на их содержимое он подпрыгнул. Тут уж было не до рассуждений. У него подскочила температура. Сердце громко бухало. Участился пульс. До самых пальцев на ногах по телу прошелся трепет. Конечно, он смутно мог предполагать, что он, наверно, довольно-таки великий художник. Конечно, его картины продаются по баснословным ценам. И он догадывался, хоть и туманно, что привлекает к себе неумеренное любопытство публики. Но чтобы сопоставлять себя с титанами планеты! Всегда ему казалось, что его известность, пожалуй, не то, что у других, какая-то невсамделишная, что ли. Никогда, при всех безумных ценах, при всем любопытстве публики, он и представить себе не мог, что он – один из титанов. Теперь он это смог себе представить. Сам вид газет красноречиво об этом говорил.

Невиданно громадный шрифт! Шапки на две колонки! Целые полосы в траурной кайме! «Кончина величайшего художника Англии». «Скоропостижная кончина Прайама Фарла». «От нас ушел великий гений». «Безвременно оборвано великое поприще». «Европа в трауре». «Невосполнимая утрата для мирового искусства». «С величайшим прискорбием...» «Наши читатели будут потрясены». «Для каждого ценителя великой живописи эта весть станет личным ударом». Так газеты соревновались в силе скорби.

Он уже не относился к ним снисходительно, небрежно. По спине у него прошелся холодок. Вот он лежит, один-одинешенек, в малиновом сиянии, запертый у себя в крепости, просто человек, с виду ничем не отличающийся от других людей, а его оплакивают европейские столицы. Он так и слышал их рыдания. Каждый любитель великой живописи испытывал чувство личной утраты. Мир затаил дыхание. В конце концов, не зря стараешься; в конце концов, стоящую вещь человечество оценит по заслугам. То, что сообщали вечерние газеты, было прямо поразительно, и как поразительно трогало. Известие о его кончине повергло в глубокое уныние род человеческий. Он забыл, что миссис Чаллис, например, удалось ловко скрыть свою печаль по случаю невосполнимой утраты, и что насчет Прайама Фарла она спросила даже ско-

рее как-то вскользь. Он забыл, что не улавливал решительно никаких признаков всепоглощающей скорби, как, собственно, и скорби вообще, на многолюдных улицах столицы; что отели, скажем, не сотрясались от рыданий. Зато он знал, что вся Европа в трауре!

– Я был, наверно, очень даже ничего себе художник – ах, но почему же *был*,

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.